

Начало пути. 1972–1978

С годами круг друзей редет, это известно всем тем, кто достаточно долго пожил на свете. Детские привязанности позабыты, приятели отрочества и юности нами, по большей части, вспоминаются с немалым трудом – они остались в прошлом. Поэтому, когда уходят те, с кем дружба непрерывно длилась десятилетиями, остро испытываешь умаление самого себя – словно часть тебя самого отмирает и уносится вдаль.

Философия не утешает, она лишь помогает понять, что утрачивается. Мы помним, что размышления о дружбе начинаются в античности: Аристотель различал три ее вида, Цицерон писал о ней как о согласии во всех делах божественных и человеческих в сочетании с благожелательностью и привязанностью. Быть может, темой размышлений она стала и раньше. Плутарх в «Пире семи мудрецов» приводит «мудрое слово» Фалеса: «врагам и в вероятном не верь, друзьям и в невероятном верь», причем врагами он числил людей дурных и глупых, а друзьями – добрых и разумных. У нас нет никаких оснований полагать это суждение менее достоверным, чем всем известное «всё есть вода». Согласие и доверие равных возвышаются над удовольствием от общения или пользой, друзья выступают как некое зеркало, в котором мы отражаемся, а тем самым идентифицируем самих себя. Таких друзей всегда немного. О том, как завязывалась моя дружба с Геннадием Васильевичем Болдыгиным, я постараюсь рассказать, вспоминая обстоятельства места и времени.

Я познакомился с ним более полувека тому назад, когда в сентябре 1972 года впервые вошел в аудиторию на 11-м этаже той недавно построенной «высотки», куда переехали гуманитарные факультеты МГУ. Переведясь из УрГУ на четвертый курс философского факультета, я избрал специализацию по истории философии, каковой, по существу, уже начал заниматься на Урале. Учебную группу составляли студенты, специализирующиеся по кафедрам истории зарубежной философии, истории русской философии и истории марксистско-ленинской философии, мы вместе работали на семинарах по общим предметам, тогда как кафедральные спецкурсы слушали в узком составе. Как и на курсе в целом, в группе преобладали поработавшие на производстве или послужившие в армии; поступивших сразу после школы было процентов 30. Разница в 5 лет не так уж значима, когда одному 45, другому 40, но она ощутима между 20- и 25-летними. Я не мог не обратить внимание на державшуюся вместе пару из казавшегося самым взрослым парня и самую юную, казавшуюся десятиклассницей, девушку. Оказалось, они недавно стали мужем и женой – Геннадий Болдыгин и Светлана Балмаева.

Не стану останавливаться на том, чему и как нас учили. Если сказать предельно коротко, одни курсы читали профессионалы очень высокого уровня, тогда как другие были полны идеологической шелухи, причем даже там, где в том не было никакой нужды – в качестве примера приведу этику, историю русской философии. Кафедральные спецкурсы также оказались разнородными. Лучшим был, как мне помнится, спецкурс Б. Грязнова о Карле Поппере – он сумел заинтересовать студентов, которые в большинстве своем занимались кто Гегелем, кто Ницше и Хайдеггером, кто Августином и аль Газали. Можно вспомнить об интеллектуальной атмосфере той эпохи, затрагивавшей и студентов. Одни бегали на лекции Мамардашвили, другие слушали в набитой до предела поточной аудитории Пятигорского, третьи не пропускали ни одного выступления Ильенкова. На курсе была группа парней, которые ходили к Ильенкову домой и с восторгом рассказывали о том, как он учил их различать в увертюре такты, соответствующие логике Гегеля: бытие – ничто – становление. Должен признаться, мне самому совсем не понравились ни артистичные выступления Мамардашвили (пересказ Сартра), ни популярное изложение «Бхагавадгиты» (том Радхакришнана я к тому времени уже читал). Еще менее задевали тогдашние споры по поводу диалектической и формальной логики. Сейчас можно оценить хоть позиции Ильенкова, хоть противостоявших ему «онтологов», как попытки оставаться марксистами без жертвоприношения интеллекта:

одни возвращались к Гегелю, другие к натурализму и сциентизму, отыскивая подходящие цитаты в трудах «классиков» для обоснования своих отклонений от «генеральной линии». Моих однокурсников в интересе к Гегелю поддерживало то, что психологию им читал известный сторонник деятельностного подхода Гальперин, а политэкономия капитализма изучалась во вдвое большем объеме, чем в УрГУ, причем в центре внимания находились темы вроде «товарного фетишизма». Какую-то роль сыграл и спецсеминар по «Феноменологии духа», который провел у студентов кафедры ИЗФ В. Н. Кузнецов. Предполагая, что мне придется сдать этот курс, я впервые прочитал этот гениальный труд; разумеется, далеко не все понял. Впрочем, и ныне, занимаясь творчеством А. Кожева, я не думаю, что досконально знаком с «Феноменологией духа». Некоторые мои новые однокурсники полагали, что Гегель ими совершенно постигнут, а тем самым покорены вершины мудрости, с которых достаточно диалектически спуститься, чтобы овладеть любым предметом. Мне их восторженное состояние чем-то напоминало энтузиазм первооткрывателей Гегеля в кружке Станкевича. Приходило в голову шуточное четверостишие одного из создателей «Козьмы Пруtkова», Жемчужникова:

В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я,
Всё о нем, всё о Гегеле
Моя дума дворянская.

Я рассказываю об этом увлечении далеко не худших студентов потому, что Гена тоже занимался Гегелем – писал о нем сначала курсовую, затем дипломную работу. Однако никаких восторженных слов он не произносил, нескончаемых речей по любому поводу о «движении от абстрактного к конкретному» не вел. А если уж вспоминал о достоинствах немецкого мыслителя, то упоминал его энциклопедизм, да еще примеры приводил из не самых ценимых учениками Ильенкова «Философии природы» и «Философии права». То, что Гегель был прославлен в «Философских тетрадах», что его вовлекали в споры по поводу догматических оснований диалектического материализма, его вообще не задевало. Равно как и непрестанные поминания «отчуждения», столь характерные для копирующих западных марксистов отечественных «шестидесятников». Болдыгин работал с текстами мыслителя прошлого, занимаясь именно тем, чем следует заниматься историку философии. Желание «взять в скобки» всё то, что имело отношение к тогдашней идеологии, разделяли сравнительно немногие студенты, преимущественно историки философии и логики. К ним относился и я. Дружба начиналась с какого-то интуитивного взаимопонимания. Мыслители прошлого интересны сами по себе, они некогда жили и творили, а попытки втиснуть их в некую борьбу «прогресса» и «реакции» (материализма и идеализма, диалектики и метафизики) ведут вовсе не к модернизации, а к нелепице, идиотизму. Мне вспоминается разговор с Геней уже в аспирантуре после обсуждения на кафедре прогремевшей в то время и считавшейся новаторской «статьи трех авторов» – мы примерно одинаково оценили ее как набор модных слов, надерганных из противоречивших друг другу концепций.

Друзьями мы стали не сразу. К тому времени на курсе уже сложились какие-то приятельские компании. Насколько я помню, одним из моих первых друзей-однакурсников был Миша Кузнецов, а он постоянно общался и с Геннадием. Оба они подрабатывали то ли ночными охранниками, то ли пожарными в музее-усадьбе Льва Толстого, а я жил неподалеку и к ним заходил. Во время военных сборов я подружился еще с одним сокурсником, Нуром Кирабаевым, а он тоже был дружен с Геней и Светой. Поступив в аспирантуру в 1974 г., мы еще более сблизились. Через год в аспирантуру поступил и Кирабаев, который год провел в Институте философии в Алма-Ате. Все мы стали встречаться довольно часто, а в дальнейшем к этой небольшой компании аспирантов стал присоединяться доцент кафедры Анюр Мусиевич Каримский, с которым нас по-

том связывала дружба вплоть до его смерти в середине 90-х гг. В аспирантуре все мы напряженно работали: я читал том за томом книги испанских философов, Нур совершенствовал арабский язык, Света погрузилась в труды американских натуралистов и материалистов, Гена продолжал изучать Гегеля. Но им он вовсе не ограничивался. Хотя он был далек от религии, дежуря в усадьбе Толстого, в библиотеке писателя он том за томом читал собрание сочинений Владимира Соловьева. Зарабатывать деньги для семьи можно не только как сторож или дворник – Гена познакомился с Юрием Кимелевым, работавшим в ИНИОНе, и стал писать для тогдашних реферативных журналов и сборников. Потом он и меня познакомил сначала с Кимелевым, затем с В. У. Бабушкиным, которые выступали как своего рода заказчики. Платили за этот труд не так уж и плохо, но и занятие это было довольно трудоемким: прочитать книгу на 250–300 страниц на иностранном языке, чтобы затем на 3–5 страницах воспроизвести не только основные идеи, но и ход рассуждений автора. Конечно, знание иностранных языков и западной философии улучшалось, равно как и умение кратко и ясно выражать свои мысли. Кажется, Гена реферировал тогда и книги, связанные с историей науки – его интерес к развитию наук в XVII–XVIII вв. восходит к этому времени, равно как и почитание Канта.

Гена был крепким и довольно ловким парнем. У него был разряд по волейболу, а так как он был почти на голову ниже меня, то я не мог не задать ему вопрос об уместности именно этого вида спорта. Он обоснованно указал на то, что в задней линии и на распасовке место всегда найдется, а высокой прыгучестью он достигал того, что удачно ставил блок и тем, кто вырос до двух метров. Физического труда закончивший строительный техникум молодой философ тоже не боялся. Вообще, у него уже тогда была деловая хватка, умение обнаружить благоприятную ситуацию и ею воспользоваться. Если мое неприятие тогдашней лживой идеологии было не только этическим, но и в немалой мере эстетическим, то для Гены «застойная» действительность вызывала возмущение прежде всего своей прагматической несостоятельностью. Но в то время никто из нас, тогдашних друзей аспирантского набора, не задумывался о карьере в рамках советской системы. То, что Света станет деканом факультета, сам я создам факультет философии, а затем буду руководить огромным факультетом гуманитарных наук в ВШЭ, Нур сначала соберет и возглавит большой факультет в РУДН, а затем долгое время пробудет первым проректором, а Гена даже первый негосударственный университет создаст, – такое никому из нас не могло прийти в голову. Мы хотели заниматься историей философии и прилагали все свои силы именно для этого. Нам было у кого учиться – среди профессоров и доцентов кафедры ИЗФ были превосходные ученые.

Гене не повезло с научным руководителем. В. Н. Кузнецов был грамотным специалистом, но его человеческие качества иной раз вызывали изумление даже у давно его знавших коллег. Он почему-то проявлял «принципиальность», заваливая на предзащите собственных аспирантов. Гена был первым из них, затем было еще несколько таких случаев. Сергей Исаев, в будущем ректор ГИТИСа, даже защищал диссертацию о Кьеркегоре в другом совете, сняв фамилию научного руководителя. Гене пришлось что-то дорабатывать, и защитился он только в 1979 году. К тому времени они со Светой отправились преподавать в Читю. Мне удалось помочь им. Вернее, помог мой отец, к которому я обратился. Он поддерживал постоянные связи с К. Н. Любутиным, тогдашним деканом философского факультета УрГУ, и тот без всяких вопросов согласился принять на работу Гену, члена партии, да еще и писавшего диссертацию о Гегеле.

Разумеется, мы постоянно виделись в Москве, куда Гена и Света приезжали то вместе, то по отдельности. Останавливались они обычно у нашей однокурсницы, болгарки Лиды Митевой, вышедшей замуж за экономиста Сергея Сильвестрова. Сам я пару раз приезжал на малую родину – сначала в Свердловск, затем в Екатеринбург. Я хорошо помню вечер, когда вместе с Геной мы сидели в гостях у Дана Пивоварова, который, как оказалось тогда, не только писал превосходные работы по эпистемологии, но и начинал заниматься религиоведением; к тому же он превосходно пел. Они были с Геной близки-

ми друзьями. Год тому назад я на неделю приехал к моим друзьям, жил в квартире Гены и почти ежедневно его и Свету видел. Поздравил однокурсников с «золотой свадьбой». Мы не раз говорили не только о философии, но также об образовании, экономике, политике. Я попытался вспомнить то, что относится к годам становления ученого, каковым по своим основополагающим стремлениям был Гена. Но он был и человеком, у которого, наряду с той созерцательной (теоретической) мудростью, называемой словом *Sophia*, присутствовала и именуемая словом *Sophrosyne*, т. е. способность на практике, в общении с другими людьми, создавать нечто значимое и полезное. Однако об этой его деятельности лучше смогут рассказать его уральские друзья и коллеги.

Алексей Михайлович Руткевич,
д-р филос. наук, профессор, главный научный
сотрудник Института гуманитарных
историко-теоретических исследований имени
А. В. Полетаева (ИГИТИ) НИУ ВШЭ;
заведующий сектором современной
западной философии Института философии РАН
(Москва, Россия)